

Наталья ВЕСЕЛОВА

КОРАБЛЬ АВВАКУМА

Раскол и личность

*Держу до смерти, яко же приях,
не предлагаю предел вечных.*

Протопоп Аввакум

*Наших прадегов Бог по-иному ковал,
Отливал без единой без трещины, —
Видно, лучший металл Он для этого брал,
Но их целостность нам не завещана.
И потомки — не медь и железо, а жель
В тусклой ржавчине века угрюмого.
И не в сотый ли раз я берусь перечесть
Старый том «Жития» Аввакумова.*

Арсений Несмелов

Раскол внутри Православной церкви в 17 веке явился не только продолжением Смуты — ее неминуемым духовным последом, но провозвестником — революции, началом глубокой, в конечном счете, мир имеющей привести к пришествию антихриста, болезни русского духа. Сегодня выбрасывали из домов «неправильные» книги и иконы с двоеперстием — завтра уже с новых колоколен станут срывать онемевшие от последнего ужаса колокола... Это вам похуже нашествия иноплемеников или насилия иноверных...

...На соломе, под «капелью», с гниющей спиной (как не умер от заражения крови!) лежал, плакал и молился в очередной раз избитый до полусмерти по тем меркам не очень уж и молодой человек (средняя продолжительность жизни в то время — 35 лет). Человек, о котором триста лет спустя потомки будут писать научные исследования и романтические поэмы, образ несокрушимый и трогательный... Протопоп, а по-нашему, по-никониански, — протоиерей. Впрочем, так себя величать он бы ни за что не согласился, ибо именно за неприятие греческого обряда (и прозваний, само собой) умирал несколько раз в прямом и переносном смысле, пока не пришел за ним тот самый последний корабль, единожды до того виденный в тонком сне: «Красно, и бело, и сине, и черно, и пепелесо, — его же ум человек не вмести красоты его и доброты (...) И я вскричал — «чей корабль?» И сидяй на нем отвечал: «Твой корабль (...)». **Запомним же с самого начала этот нездешний корабль: он нам с вами еще пригодится.**

Анафема с русской старообрядческой церкви в новейшие времена снята. Но ее анафема на нашей церкви — остается. Как и невозможность воссоединения. Вот иди и разбирайся — в догматах: с одной стороны, грех Раскола не смывается даже мученической кровью. Это — устрашение на будущее, потому что раскалываться дальше, кажется, уже некуда, а попытки такие не прекращаются. С другой...

И вот я себе представила... Отныне велено креститься не троеперстно — а пятерней, по-католически (а что — и так непонятно, кто как крестится — иные так просто руками машут, будто мух отгоняют, — надо единообразить); литургию в соседнем храме служат на современном русском языке (надо же привлекать народ, а от церковнославянского люди шарахаются — понять не могут, бедные); среди ночи врываются ко мне в квартиру, выломав дверь, вооруженные люди — и Библия, Псалтирь и молитвословы летят в переполненный уже ими кузов грузовика, а мне велят явиться на специальный пункт и получить бесплатно совершенно такие же православные — но на русском и с исправлениями (такими, чтоб никого не обижали); если я не согласна — мне переломают руки; не соглашусь и после — все, могу отплыть... на том самом корабле, с протопопом Аввакумом... Не знаю — и не мне предполагать — насколько

меня бы хватило под пытками — но что спокойно и покорно не приняла бы — одна из сотен тысяч — знаю неколебимо: *держу до смерти, яко же приях...* Тут уж осталось бы только молиться, чтоб поскорее...

Думаете, антиутопия? Один из новомучеников — священномучеников! — сокрушался в начале двадцатого века, что времена гонений на церковь навсегда миновали, и ему, по грехам его, мученичества за Христа уже никак не сподобиться...

Тогда почему протопоп Аввакум — у Арсения Несмелова «огнеглазый» — на гравюре, иллюстрирующей его же «Житие», — безумец? Почему на образ Феодосии Морозовой Сурикова вдохновила — ворона на снегу, а глаза у нее такие же — экстагический — обязательно прозвище с оттенком презрения: «боярыня Морозова»? Спроси сейчас — у не-историка — за что они страдали и погибли — и сразу лицо непроницаемое: «Ну, они — это... Не хотели креститься тремя пальцами. Да, еще с книгами там что-то было не так, так они ошибки исправлять не хотели... В общем, типа невежды... Фанатики, короче». Я не предполагаю, а знаю, что наша несчастная церковь родит еще тысячи и тысячи новейших мучеников, если что-то вроде моего кошмара станет очередной немолимой явью. Фанатиков, да. Невежд, может быть. Пусть так — Господь разберется: все равно ведь *врата адовы не одолеют ее...*

Необходимость исправления многих церковных книг была признана еще в 16 веке, при Иоанне Грозном, когда церковным собором в 1551 году был затронут и этот вопрос. Сама инициатива исходила из Троице-Сергиевой лавры, где группой духовных деятелей был даже разработан план широкой церковной реформы, касавшейся ни в коем случае не догматов, а мелочей церковного быта и исправления описок в книгах, накопившихся в изрядном количестве за все века их переписки вручную. Предшественник патриарха Никона патриарх Иосиф стремился тактично произвести необходимые исправления, сверяясь с текстами древних греческих и древних же славянских книг — свежих их переводов. Патриарх Никон совершил непоправимую ошибку: он велел исправлять современные ему славянские книги по новым же греческим, совершенно не приняв во внимание тот факт, что в греческих книгах в течение веков тоже громоздились одна на другую ошибки и неточности переписчиков. То же касалось и обрядов. «Справщики» Иосифа оставили неприкосновенными русские церковные обряды, не принятые, но и не отвергнутые греческой церковью, таким образом, посчитавшись с установившимися в Москве традициями. По мнению русских, греки к тому времени вообще утратили право занимать первое место в православном мире, так как, из корыстных побуждений войдя в унию с католиками, перестали соблюдать чистоту православной веры. Известны слова Иоанна Грозного, произнесенные в споре с иезуитом Поссевиным: «Греки нам не Евангелие. У нас не греческая, а русская вера».

Арсений Суханов, образованный боярин, посланный в Грецию для закупки древних священных книг, привез их домой четыреста девяносто восемь, но при переписке только семь могли служить образцом для исправления, а остальные имели тьму самых невероятных несуразностей. Он же, кстати, в результате своей поездки пришел к выводу, что в греческом православии высохли «ручьи Божественной мудрости» и потому «грек вовсе не источник всем нам веры». Он видел церкви без престолов, храмы в нечистоте, вопиющее искажение догматов, обрядов, подражание католикам в богослужении... И вот это все было принято за образец для рабского подражания при «реформах» патриарха Никона.

Раньше-то он с Аввакумом был даже дружен! Все они: и Никон, и Аввакум, и Григорий (в миру Иоанн) Неронов — состояли в кружке ревнителей благочестия во главе с царским духовником Вонифатьевым. Необходимость исправления ошибок в церковных книгах признавалась и там безоговорочно — но именно бывшие соратники Никона и превратились в его противников — уж, во всяком случае, не «по скудости ума», как шаблонно утверждают противники старообрядчества: ведь это были самые даровитые и образованные люди эпохи! Протопоп Аввакум, Спиридон Потемкин, дьякон Федор, Григорий Неронов, Лазарь Вонифатьев... И ни в коем случае не могли они называться еретиками — как чуть позже их заклеят священноначалие: ведь расхождение их с никонианами не касалось догматов!

...Давно это было — чуть-чуть еще — и четыреста лет. И перемешалось все, потонуло в пучине новых страданий, неоднократно и с завидной регулярностью обрушивавшихся на Русь. Да что теперь до них — каких-то там древних книг — со своими-то дай Бог разобраться! И все же — глазами ревнителей благочестия, готовых жизнь отдать за веру предков, — глянem на, как сейчас говорят, оппонентов... Итак, вот они, два главных «искусных мужа», призванных Никоном на помощь после отстранения старых «справщиков».

Арсений Грек. Авантюрист по призванию. Трижды менял вероисповедание, один раз ухитрившись побывать даже мусульманином (интересно, как там с обрезанием

у него дела обстояли — интересовался ли кто-то этим в отношении «православного справщика»?).

Пайсий Лигарид. Получил образование в Риме в греческой гимназии, основанной римским папой Григорием Восьмым. Известен пропагандой унии с католицизмом. Все сочинения написаны только в католическом духе. Отлучен от Православной церкви патриархом Нектарием за расположение к латинству.

Меня не удивляет близорукость и «преступная халатность» патриарха Никона: впасть в прелесть не заказано никому — не осудим же других. «Я русский, сын русского, но вера моя греческая», — это еще угораздить должно было такое, прости Господи, брякнуть. Меня тем более не удивляет позиция вождей Раскола: раскольниками при таких обстоятельствах они вполне могли почитать не себя. Меня удивляет — почему, прекрасно зная биографии Грека и Лигарида, будучи осведомленным о положении дел в греческой церкви, Тишайший государь приветствовал творимое? Дружил с детства с Никоном? Это не причина... В конце концов разругались так, что даже с патриаршества погнал — почему не остановил гонения на староверов? Непозволительно далее рассуждать в таком ключе о помазаннике — но не избыть вопросов... Меня еще удивляет — почему вообще староверы остались в меньшинстве... С высоты трехсот с лишком лет легко не понять. А туда не нырнешь — захлебнешься...

Давайте упомянем только некоторые, если так можно выразиться, претензии староверов к новообрядцам, перечисленные в «Житии» Аввакума — вот прочитаешь только это, малое, и засомневаешься. Начать хотя бы с символа веры. С того самого, который мы теплохладно скандируем после «большого выхода» — механически, как разучили когда-то, и не вспоминая о том, что люди шли на костры за то, чтобы там осталось одно лишь слово — слово, которого теперь нет: «истинного». «*И в Духа Святаго, Господа Истиннаго и Животворящего*» — так читалось до Раскола.

А как насчет поговорить по-ангельски? Знайте: «алилуйа» — это на языке ангелов и значит «слава тебе, Боже!» — и поэтому, когда мы по-теперешнему произносим «алилуйа» трегубо (трижды), добавляя после, через запятую, «слава тебе, Боже», то мы «четверим Святую Троицу»: «алилуйа» должна петься только сугубо (дважды) — и Троица не будет оскорблена.

Молитва Ефрема Сирина и теперь читается Великим постом во время литургии, и во время нее кладется три земных поклона, после — еще один. Итого, четыре. И вот картина: половина храма вообще стоит и едва наклоняется, причем это не инвалиды или немощные старцы, а вполне здоровые, молодые, трудоспособные люди. Из кладущих поклоны — еще половина кладет их с колен, т.е. не вставая, что гораздо легче, а смотрится не менее впечатляюще. Оставшиеся выглядят страдальцами, четыре раза трагически собирая в кучу свои бранные кости и мужественно повергаясь обратно: так и кажется, что на этот-то раз уже не встанут. Четыре раза проделали — и вздох облегчения: ну, всё с поклонами... До Раскола творили таких поклонов — семнадцать. Всем храмом. Да и одежда была в несколько раз тяжелее нашей. Четыре, введенные никонианами, казались немыслимым послаблением, распушенностью — одним словом — никонианством...

Они видели знамения, наши предки, — затмения солнца и всевозможные кометы, к которым мы здесь, у нас, как-то попривыкли уже, а пращуры знали: добром такое не кончается. Одно полное затмение случилось 2 августа 1654 года, другое — 22 июня 1666-го, уже после расстрижения Никона... Аввакум наблюдал эти знаки небес. Может быть, он знал о них больше, чем мы...

В 1654 году церковный собор все-таки состоялся — и в ответ на речи патриарха и царя вторично провозгласил, что: «Достойно и праведно исправить против старых харатейных греческих» — то есть еще и еще раз подтвердил, что исправление текстов необходимо производить, сличая первоначальные славянские переводы с современными им греческими книгами, и невозможно исправлять древние священные книги по новым греческим, в которые после Флорентийской унии вкралось много искажений. Но постановление собора так и осталось невыполненным. Так что, по сути, реформу можно считать не церковной — а единоличной. Никоновой.

Насколько была она действительно необходима именно в тот исторический момент? Со времени великой Смуты прошло только сорок лет. Русь еще не успела опомниться и отдышаться, а ее уже опять ставили перед великим выбором, в ничто обратив вековую самобытность, опять ломали и гнули недопустимыми, грубейшими мерами. Тот мой кошмар (см. выше) не на ровном месте родился — все так было уже: именно врывались во дворы, хватали, швыряли и волочили, не трудясь объяснять, а, как водится, держа людей за скотину... Внутренний уклад церковной жизни на глазах менялся — революционно: решив до конца согласовать русские обряды с греческими, Никон быстрыми темпами вводил в России греческие амвоны, греческий архиерейский посох, греческие клобуки и мантию, греческие церковные напевы, монастыри по гре-

ческому образцу... Между тем, существование разностей в обрядах и богослужении у частных поместных церквей всегда допускалось вселенской церковью, что недвусмысленно выразил святой папа (до самоотсекновения Католической церкви) Григорий Двоеслов: «При единстве веры церкви не вредит различный обычай». За реформы стояли многие русские духовные люди — за реформы, но не за кровавую революцию, калечащую русскую самобытность, перекраивающую саму русскую душу на иноземный лад...

Все то, что происходило, понравиться русскому народу не могло ни при каких обстоятельствах — и вот еще одна зарисовка: «Посланные Никомане пытались отнимать силой, и тогда происходили драки, увечья, даже смертоубийства из-за книг. Из многих церквей мирские люди тайком брали старые книги и, как драгоценности, уносили с собой в леса, пустыни, в тундры отдаленного севера, куда бежали, спасаясь от никонианских новшеств». Ничего не напоминает? Мне — эпизод из книги С. Мельгунова «Красный террор в России». Разница между событиями — примерно 270 лет...

Неповиновение от единичных случаев в рамках отдельных семей и приходов постепенно перешло в массовое. Стоит вспомнить хотя бы Соловецкий монастырь, поднявший бунт и продержавшийся в осаде 8 лет — с 1668 по 1676 год!

«Огнем, да кнутом, да виселицей хотят веру утвердить! Которые апостолы научили так? Не знаю! Мой Христос не приказал нашим апостолам так учить, еже бы огнем, да кнутом, да виселицей в веру приводить!» — протопоп Аввакум отвечал за свои слова, когда писал так. Хотелось бы договориться с самого начала: мы будем априори верить всем его словам. «Житие» писалось в Пустозерске, большею частью в подземной тюрьме, где смерть могла прийти ежечасно — а перед ее лицом не лгут. И не фантазируют. Поэтому подлые ремарки историков «здесь Аввакум преувеличивает», а «там искажает факты» мы проигнорируем: искажать факты — это они мастера, а он был абсолютно правдивым современником, этот бесстрашный, нестигаемый, нежный и сентиментальный человек, прикармливавший мышей в своих периодических холодных подвальных клетях — «бархатные комочки» в клетях, где его самого, случалось, прикармливали ангелы...

Вспомним о чудесах, к которым сам Аввакум, похоже, относился как к обычным бытовым явлениям и ничуть им не дивился, считая, что так и должно быть — а между тем, нам остается только поражаться тому, как близок к Богу был этот молитвенник. В собственных подвигах, читая о которых, немеешь от изумления, он не видит ровно ничего особенного и порой даже заходит дальше, чем можно: будучи подвижником и героем, не может понять в других не-подвижничества и не-героизма. Речь здесь идет о том эпизоде, когда два его родных сына, Иван и Прокопий, при угрозе немедленной казни дрогнули и перекрестились было по-новому. «*Не догадались венцов победных ухватити: испужався смерти, повинились*», — сокрушается их отец и упрекает жену в том, что «*детей своих и забыла подкрепить, чтоб на виселицу пошли и с доброю дружиною умерли заодно Христа ради*». К таким высотам духа до него поднимались лишь единицы из христианских первоучеников.

На филфаке университета «Житие» проходят сразу, на первом курсе, читают без перевода — проходят, собственно, «мимо», потому что студенты в тот семестр просто завалены литературой, которую обязаны изучить, — родной и европейской. Тут только успевай пролистывать хрестоматию. Но Аввакума, оказалось, в нашей группе читали все — сумел задеть за живое. Перед его мученичеством и стойкостью померкли очень и очень многие подвиги времен социализма — на лекции о нем мы сидели притихшие, пока кто-то вдруг не спросил преподавателя: «Простите, а его, м-м... — (робко), — чудеса... Ну, этот ангел со щами... Рыба... И потом эти... ну... — не сказал «бесноватые», коммунизм же строили, а (тише шепота): — припадочные...» У преподавателя ответ был уж готов, верно, и другие не однажды спрашивали, — и он тут же выпустил на нас, как пса с цепи, лишь чуть Аввакума во времени опередившего Афанасия Никитина («Путешествие за три моря») с его диковинными заморскими чудищами, людьми-животными и прочими несуразностями. Ничего, мол, особенного — где фантазия, где галлюцинации. Как нам не стыдно, мы ведь как раз сейчас фольклор изучаем, уже должны понимать, откуда у таких образов ноги растут... И вообще — это все исключительно литературные памятники. Или мы намерены и про летающую ступу всерьез спрашивать? Диспут был закрыт. По-моему, приспело время открыть его снова.

В самом начале крестного пути, еще до основных ссылок, пыток и надругательств, в Москве арестован был непокорный протопоп в первый раз и вскоре доставлен в Андроньев монастырь, для вразумления и устрашения посажен на цепь в «темную полатку» под землей, где без пищи и воды его продержали трое суток в полной темноте и в компании только мышей и тараканов. Но и на цепи сидя, Аввакум не унимался: клал поклоны не то на восток, не то на запад, в темноте не разобрался. Надеюсь, врачи-психиатры мое эссе читать не станут — разве только подошьют когда-нибудь в историю

болезни. Они бы, конечно, грамотно доказали, что после трех дней без проблеска света, в полном голоде и жажде, да в молитвенном экстазе увидеть можно уже что угодно. Ответу: попробуйте сами, а потом расскажите, что именно увидите. Наверяд ли то же, что протопоп Аввакум:

«...и после вечери ста предо мною, не вем — ангел, не вем — человек, и по се время не знаю, только в потемках молитву сотворил и, взяв меня за плечо, с чепью к лавке привел и посадил и лошку в руки дал и хлебца немношко и штец дал похлепать, — зело прикусны, хороши! — и рекл мне: «Полно, полно, довлеет ти ко укреплению!» Да и не стало ево. Двери не отворялись, а ево не стало! Дивно только — человек; а что ж ангел? Ино нечему дивитца — везде ему не загорожено». Теоретически ангел, конечно, мог пригрезиться, но вот щи, да еще вкусные... «Пригрезиться» — это атеисты, а принципиальные противники старообрядчества — категорически: «Прелесь».

Что ж, будем дальше разбираться.

Протопоп Аввакум походя изгонял и злейших бесов, о чем упоминания, как звезды по небосводу, рассыпаны сплошь по его «Житию». Изгонял, между прочим, уже не голодный и не в темноте — при свете, и видел их очами не только духовными, но и телесными.

«В Даурской земле» — в сибирской ссылке — гнал нечистых разве что не толпами: тут и две вдовы, Марья да Софья, которых бес жестоко мучил — бились и кричали, — тут и многочисленные «бабы» — у тех, может, конечно, истерия, но на Руси это определялось просто и безошибочно — с помощью крещенской воды: может человек ее пить — значит, целить его должен не священник, а дубина — и ничего, приходили в разум; не может — бес в нем, и тогда к протопопу... Все у него «целоумны и зравы стали», да в доме постоянно человека три-четыре «бешаных» жило, и всегда — «за молитв святых отец отхождаху от них бесы, действием и повелением Бога нашего Иисуса Христа». Описаны случаи и заочного исцеления по молитвам Аввакума. Интересно, теперь много ли православных священников могут тем же похвалиться? Впрочем, Аввакум не хвалился, наоборот, писал: «А я, грязь, что могу сделать, аще не Христос».

Два же случая заслуживают особого упоминания, потому что процесс изгнания беса сам Аввакум описывает подробно: ведь беда приключилась не с кем-нибудь, а с родным его братом-священником. «И егда в молитве речь дошла: «аз ти о имени Господни повелеваю, гуше немый и глухий, изыди от создания сего и к тому не вниди в него, но иди на пустое место, идеже человек не живет, но токмо Бог призывает», — бес же не слушает, не идет из брата. И паки ту же речь в другоряд, и бес еще не слушает, пуще мучит брата. Ох, горе мне! (...) Бес же скорчил в кольцо брата и, пружався, изыде и сел на окошко; брат же быв яко мертв. Аз же покропив его водою святою: он же, очхняся, перстом мне на беса, сидящего на окошке, показывает, а сам не говорит, связавшуся языку его. Аз же покропил водою окошко, и бес сошел в жерновный угол. Брат же и там ево указывает. Аз же и там тою же водою. Брат же указал под печь, а сам перекрестился...» И в тот раз обоим братьям за упрямым бесом погоняться пришлось не в пример дольше, чем обычно — и что, тут имела место — групповая галлюцинация? Человек лежал, как мертвый, по Евангелию, — это прелесь? Что-то все больше верится в обратное.

А вот еще один случай.

В Москве (это уже вторая Москва протопопа Аввакума, из Сибири он на время возвращен) был у него в доме очередной «бешаной» по имени Филипп — ну, да это дело в доме том было обычное, разве что бес выходил трудно, «понеже был суров и жесток гораздо», и потому несчастный одержимый был до поры до времени прикован к стене, потому что в отсутствие хозяина дома, обыкновенно являвшегося лишь к ночи, домочадцы уж совсем не могли с ним ладить. Но постепенно Филипп исцелялся: «Сила Божия отогнала от него беса, только ум еще несовершен был». И вот однажды, когда Аввакум вернулся домой, по обычаю, ночью, да еще «зело печален», потому что в тот вечер дома у Феодора Ртищева «с еретиками шумел много о вере и законе», он узнал, что у его домочадцев без него приключилось нестроение: его жена, любимая и увековеченная протопопица, побранилась с приживалкой — вдовой Фетиньею: «дьявол ссорил ни за што». Скандал, вероятно, был немалый, потому что введенный в курс дела Аввакум разбираться, кто прав, кто виноват, не стал: обеих женщин избил собственноручно и в придачу «оскорбил гораздо». Он вообще, вероятно, был скор на расправу и — сам немало битый! — сокрушенно признавался: «...га и всегда такой я окаянной сердит, гратца лихой. Горе мне за это!» Сразу протопоп не покаялся — видно, не смекнул, что сгоряча отглушенные бабы — тоже дело несправедное — и ничтоже сумняшеся приступил к еженощному укрощению неподатливого Филиппова беса. И тут ему, не исправившемуся, Господь отказал в обычной власти над злыми духами: бесноватый выломал цепь и бросился на исцелителя со словами: «Попал ты мне в руки!» (Насчет возможной галлюцинации или прелести вопрос уже, кажется, становится ри-

торическим — куда там, когда кости трещат!) Аввакуму пришлось плохо — не помогла и молитва до тех пор, пока не понял, что тяжко согрешил... Лежал после этого на полу долго — «с совестью собирался». И собрался. «Восставше, жену свою сыскал и перед нею стал прощатца со слезами, а сам ей, в землю кланаясь, говорю: «Согрешил, Настасья Марковна, — прости меня, грешного!» (...) Таже лег посреди горницы и велел всякому человеку бить себя плетью по пяти ударов по окаянной спине: человек было с двадцать, — и жена, и дети — все, плачучи, стегали. А я говорю: «Аще кто бить меня не станет, да не имать со мною части в Царствии Небеснем!» И оне нехотя бьют и плачут, а я ко всякому удару по молитве. Егда ж все отбили, и я, восставшее, сотворил перед ними прощение. Бес же, видев неминуемую, опять вышел вон из Филиппа. И я крестом его благословил, и он по-прежнему хорош стал». Говорят, эта сцена кажется слишком театральной, а сам протопоп из-за нее выглядит истериком. Классически, так, конечно, и было: творческой натуре — а кто усомнится, что таковая была и у Аввакума! — свойственна некоторая экспансивность, но результат-то вполне очевиден: жертва Богом принята, благодать восстановлена, милость возвращена.

На этом довольно о бесноватых: число их, только попавших в «Житие», переваливает за полтора десятка. Пора вернуться к «привидевшимся» чудесам (или, по-иному, бесовскому наваждению).

Чудеса бытовые, словно бы «случайности», — вот что меня всегда поражало в повседневности. Тянет человек свою лямку — ту ли, другую ли — и вдруг оно сверкнет прямо перед ним: «А Бог-то есть, смотрит на тебя каждую минуту! Ты только не поленись — позови...» Вот Сибирь, место дикое — Дауры. По замерзшему озеру бредет человек на «базулуках» — особых подошвах с шипами, подвязанных к обуви для ходьбы по гладкому льду. А зима бесснежная — «снегу там не живет» — (какова метафора! — мимоходом вскрикивает во мне надежно придушенный филолог) — только льды толщиной в туловище. Человека томит жажда, а воды добыть нельзя — вокруг льдов на восемь верст... В такой ситуации что сделает большинство из нас? Правильно, начнет долбить лед и пытаться как-то его растапливать — если есть, в чем. А если нет? Человек, о котором пишу, остановился, посмотрел на небо и сказал: «Госпоги, источивый из камени в пустыни людем воду, жаждущему Израилю, тогда и днес ты еси! Напой меня ими же веси судьбами, Владыко, Боже мой!» И лед затрещал под его ногами и разъехался, а потом сошелся снова, оставив лишь «пролубку малую» — и он, поклонившись на восток трижды, лег и напился. Человек по льду ходил, конечно, не для собственного удовольствия. У него в лагуге погибали с голоду жена и дети, которым нужно было принести какую ни есть еду — рыбу, например — а еще попробуй, продолби тот лед, чтобы до нее добраться, да нарты с рыбою через то озеро до семьи доволоки. А потом дров наруби на каком-нибудь берегу и, опять же — домой их. И все это притом, что из тебя недавно опять где-нибудь дух выколачивали, так что без сознания отлеживался. Все это делая, Аввакум не оставлял свое «правило» — это теперь у нынешних «воцерковленных» христиан оно занимает в лучшем случае пятнадцать минут. Он же читал «вечерню, заутреню и часы — что прилучится». Он знал, что «не глад хлеба, ни жажда воды погубляет человека; но глад велий человеку Бога не моля жити».

Самые мелкие не проступки даже — легкие слабости свои — считал он преступлением и судил себя за них нещадно. Например, когда обессилел совсем до крайности от голода и нечеловеческого труда, однажды не оставил — Боже упаси! — чуть-чуть ослабил свое правило, продолжая читать псалмы, какие положено после вечерни, всю полунощницу, да из часов — только первый. Считающим, что это пустяки, предлагаю немедленно взять и прочитать — будучи сытым и бодрым. И посмотреть, каково это. Аввакум сокрушается: «...что скотинка волочься; о правиле том тужу, а принять ево не могу; а се уже и ослабел». Но спрос с подвижника — это не с нас с вами. «Приволокшись» домой, несчастный протопоп обнаруживает, что в довершение всех его бед, протопопица в избе рыдает, потому что их дочь Огрофена вдруг онемела и теперь может только мычать и плакать. «О имени Господни повелеваю ти: говори со мною!» Современным батюшкам, уверяющим, что Аввакум был в прелести, предлагаю обратиться с таким приказом к первому же встречному гугнивому — и лицезреть результат. У Аввакума он был таким: отроковица внятно и четко объяснила ему, что с ней стряслось: некий «человек светленек» удерживал ее язык, не позволяя говорить с матушкой до тех пор, пока не вернется отец, с тем чтобы сказать ему, чтобы он продолжал творить свое прежнее правило — и тогда семья получит возможность выехать обратно на Русь, в противном же случае все погибнут в Сибири... Правило возобновилось «через не могу» — и спустя некоторое время обетование сбылось. Сколько ни читаю этот эпизод — каждый раз по-новой поражаюсь некой домашней естественности, с какой автор описывает случившееся. Ну, пришел, ну, плачут, ну, приказал говорить... Дело, похоже, виделось ему даже обыденным — вера Аввакума была настолько глубока и непоколебима, что он и сомнений не держал, что что-то где-то не сработает. Жаль, он,

с его-то дерзновением, какую-нибудь гору ссадить в море Байкал ради суровой надобности не додумался — то-то бы пейзаж сейчас в Сибири был...

Раз уж вспомнилось Евангелие, то как не поговорить о рыбах. Господь, как мы помним, в придачу к хлебу — пяти и семи — всегда давал людям и рыбу. Со своими апостолами не раз сам выходил в море Галилейское, где они ловили все ее же. Чудо с рыбой не могло не произойти и с протопопом Аввакумом.

На озере Иргене лов почему-то стал плохой. Никто ничего поймать не мог, народ начал с голоду пропадать — *«от глада исчезаем»*. Одному только Аввакуму в сети, по молитвам, попались шесть зызей и две щуки, а на следующий день — так вообще десяток крупных рыб. Воевода Афанасий Пашков, под чьей властью находился тогда Аввакум, человеком был, судя по «Житию» — звероподобным: во всяком случае, людей, не моргнув, морил, пытал садистски за малейшую провинность, в приступах ярости становился опасней таежного медведя, а протопопу с семьей ненавидел какой-то прямо адской ненавистью и делал буквально все, чтобы их извести. По-моему, Аввакум не вынес столько от властей церковных, сколько от этого человека. Увидев улов, Пашков своего ненавистного протопопу с рыбного места согнал и велел поставить сети туда, где ничего живого не могло быть по определению: на брод для скота, где оставалась только грязь по щиколотку, уже без воды. Дети Аввакума отговаривали отца ставить сети, чтобы их не сгноить попусту, но отец у них был другого свойства: *«Владыко Человеколюбче, не вода дает рыбу, — Ты вся промыслом Своим, Спасе наш, строишь на пользу нашу. Дай мне рыбки той на безводном том месте, посрами дурака твоего, прослави Имя Свое святое, да не рекут невернии, где есть Бог их»*. Уже чудес в жизни при отце таком достаточно навидавшись, дети наутро все-таки не хотели идти проверять сети, вызываясь *«брести»* уж лучше по дрова — настолько невероятным казалось увидеть в сетях что-то, кроме случайно заплывших головастика. Один сын все-таки отправился с отцом... Словом, рыбу с этого места таскали они несколько дней подряд — даже после того, как упомянутый Пашков в ярости велел изорвать их сети в клочки...

«Терпение убогих не погибнет до конца» — так заканчивает Аввакум рассказ о своем очередном простом чуде, и в том месте в книге нет звездочки, означающей ссылку. Издатели не разобрались, что автор на сей раз не придумал это сам — а смиренно процитировал девятый псалом Давида...

Такие вещи, конечно, на ровном месте не происходят. Для того чтобы так чудотворить, нужно быть по-библейски — «назореем от рождения» — и, похоже, в лице протопопу Аввакуму мы сталкиваемся как раз с таким явлением. Раскол отторг от нас этого замечательного святого, канонизированного только Старообрядческой церковью, но приближающегося, безусловно, к таким великим столпам Руси, как Сергей Радонежский, Александр Свирский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский... (Кстати, интересно, по мнению патриарха Никона выходило, что первые два — тоже молились «неправильно»?) Такие «назорее» с детства призваны к особому духовному деланию, осенены, как поцелованы, особой Божьей благодатью и осознают свое избранничество не как привилегию, а как тяжелейший, часто мученический крест.

Аввакум родился в семье отца-пьяницы и матери-постницы и молитвенницы, собственно, и научившей его *«страху Божию»*. Отрок сам постепенно превращался в подвижника — через осмысление смерти как явления и ее неизбежности для всего живого. Нужно напомнить, что смерть была частой гостьей в домах той поры: мерли все кругом. В наше время умерший ребенок — это не постижимая уму трагедия, но в те годы младенческая смертность достигала семидесяти процентов: из десяти родившихся детей не более троих доживали до взрослого возраста, и в огромных соборах и деревянных церквушках всегда стояло по нескольку коротеньких гробиков в ожидании отпевания — над ними даже, по свидетельству современников, не очень «голосили», потому что дома на печи лежало еще несколько душ (и ртов по совместительству), а во чреве каждый год зрело очередное чадо. Так что маленький Аввакум со смертью знаком был не понаслышке — а вот «прорвало» его почему-то не на мертвых ровесниках — на соседской павшей скотине. Что-то в зрелище мертвых животных, с которыми, вероятно, любил играть — а ведь он и взрослый любовно о них отзывался, мы знаем, — потрясло ребенка настолько, что *«и той ночи, восставше, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть; и с тех пор обыкох по вся ночи молитися»*.

Не обошли его и соблазны, как и всякого смертного, — вот характерная картина.

К молодому тогда священнику Аввакуму пришла на исповедь девушка и начала, рыдая, каяться ему в блудных грехах и малакии — подробно, стоя перед Евангелием. И вот тут-то... *«Аз же, треокаянный врач, сам разболелся, внутрь жгом огнем блудным, и горько мне бысть в тот час: зажег три свечи и прилепил к налою, и возложил руку правую на пламя, и держал, дондеже во мне угасло злое разжение, и, отпустя девицу, ризы сложа, помоляся, пошел в дом свой zelo скорбен»*.

С блудной страстью бороться практически невозможно — переболевший знает, блажен не испытавший — но ему не объяснишь. А почему невозможно, собственно? Как раз-таки возможно, вот и рецепт готов: зачем целых три свечки, куда нам такое самомучительство! Одной хватит. И — ладошку на нее, да подержать подольше. Как рукой снимет. Надолго. А может, и навсегда, если при новом поползновении про свечечку вспомнишь. Но только кто из нас этим воспользуется! Поэтому и не распедаются перед нами льды, не сходят горы в море, нет рыбы в наших сетях (да это-то не беда, нам бы Аввакумовы проблемы: мы ее, родненькую, — динамитом...).

А если серьезно — то для нас, триста с лишним лет спустя, люди, жившие в то время — всегда несколько стофажные фигуры: персонажи книг, фильмов, картин, они как бы и не жили на самом деле, а только отражались в кривых зеркалах наших и чужих фантазий. Но ведь то была жизнь — настоящая. Не менее реальная, чем наша с вами. Но, чаще всего, во много раз более трагичная. Просто потому, что реалии жизни были совершенно другими, и люди тоже: они думали по-другому и из одних и тех же событий могли сделать выводы, полярно отличные от наших. Понятия добра, зла, справедливости, конечно, в целом подходили на теперешние, но в деталях все равно существенно разнились. Кроме того, жизнь наших предков была значительно тяжелее — на бытовом уровне приходилось ворочать горами. Для того чтобы просто сварить какой-нибудь элементарный суп, нужно было последовательно произвести ряд немислимых и чуть ли не варварских действий. Например, сначала отрубить курице голову, выпустить из тушки кровь и ошпарить ее. Впечатлений только от одного этого процесса любому из нас хватило бы надолго. Я уж не говорю про какие-то банальные дрова — не готовые рубленые, а... сначала сваить дерево, распилить его на кругляши да собственноручно наколоть — притом, что никаких вам бензопил. Люди постоянно получали небольшие травмы, раны, а простых лекарственных трав, которые они имели в своем распоряжении, чаще всего, недостаточно было для того, чтобы полностью остановить воспалительный процесс, обязательно начинавшийся, если в рану попадала, скажем, кровь той же убиенной курицы. Нормальным считалось, если на теле любого человека в любое время наличествовало два-три, как бы сейчас сказали, абсцесса, которые его вроде бы и мучили — а вроде бы так и надо, у всех так... Заболевшие зубы гнивали на корню, и если в этой части не было особо здоровой наследственности, к тридцати годам рот каждого человека обоего пола был полон черных, гниющих, шатающихся и мучительно болевших на все лады пеньков, — и так до второй половины девятнадцатого века, когда начала зарождаться терапевтическая стоматология — это не мои домыслы, это результаты раскопок по всему миру. Просто жить, даже относительно здоровым и счастливым, было уже само по себе физически несказанно трудно — мы как-то забываем об этом, когда рассуждаем о поступках пращуров, походя осуждая их и забывая о том, что хотя бы на тяжкие их ежедневные, ими в расчет не принимаемые мучения, следовало бы нам делать серьезную скидку. А они при этом еще ничего — поднимались на головокругительные высоты духа, создавали шедевры искусства, устного, письменного и живописного, строили неповторимой красоты храмы...

К чему я это все? К тому, что как-то уживались все эти высоты со сказочным варварством и мучительством: невозможным казалось просто убить ненавистного человека, перед этим следовало его еще варварски запытать, а опустить морально — так ниже уровня земли... Далеко ли ушли мы? Не знаю. На территории Российской Федерации всего пятнадцать лет назад дикари отпиливали людям головы пилой: я имею в виду новейшего мученика воина Евгения Родионова и иже с ним пострадавших. Те же дикари казнили на центральной площади мужчину и женщину — путем отрубания головы. Никто ни того, ни другого не остановил, не пресек — значит, за триста лет переменялось не так уж много. Но все-таки это были дикари, застрявшие в средневековье, а в то время, о котором пишу сейчас, ничего особо выдающегося не было в такой, к примеру, картине:

«Таже ин начальник, в ино время, на мя рассвирипел, — прибежал ко мне в дом, бив меня, и у руки отгрыз персты, яко пес, зубами. И егда наполнилась гортань его крови, тогда руку мою испустил из зубов своих (...). Аз же, поблагодаря Бога, завертев руку платом, пошел к вечерне. И егда шел путем, наскочил на меня он же паки со двема малыми пищальми и, близ меня быв, запалил из пистоли, и Божию волею на полке пороховых пыхнул, а пищаль не стрелила. Он же бросил ее на землю и из другая паки запалил так же, — и та пищаль не стрелила». Заметьте, это не революция, не гражданская война, не бунт. Это знаете за что? «Сердитовал на меня за церковную службу: ему хочется скоро, а я пою по уставу, не борзо; так ему было досадно».

Аввакуму пришлось пережить множество подобных эпизодов еще до ссылок и гонений: до начала Раскола он мастер был обличать дела, которые считал непотребными: то выгонит скоморохов, отобрав у них двух медведей (нам сейчас кажется, что скоморошество — в прошлом милая народная забава — а на самом-то деле — разну-

зданное и дикое зрелище, часто с кошунствами), то напустится с разоблачениями на своих односельчан или паству, упрекая их в пьянстве и разврате, — зато и эпизодов типа «...среди улицы били батожем и топтали; и бабы били с рычагами. Грех моих раги замертво убили и бросили под избной угол» — в «Житии» немало; удивляешься только физической крепости: любому из нас одного подобного случая хватило бы для получения инвалидности.

Но все это была в его жизни так, пристрелка: около 17 сентября 1653 года протопоп Аввакум отправлен был в ссылку из Москвы в Сибирь с женой, племянницей и четырьмя детьми, младшему из которых в тот день было 8 дней отроду — а протопопица после родов — тринадцать недель везли ее в телеге. Наступила осень. Приближалась зима. В Тобольске, пристроенный было «к месту», в собор служить, продержался около полутора лет — но не обличать Никона он и там не мог, поэтому после многочисленных доносов оказался в Енисейске, во владениях воеводы Афанасия Филипповича Пашкова, ставшего вскоре для Аввакума кем-то вроде воплотившегося демона. В 1655 году Пашков получил приказ отправиться во главе отряда в несколько сот стрельцов и казаков в Даурию (часть Забайкальской области). Задачей его было покорение земель, лежащих на Амуре, и установления там правильной администрации. Человек он, конечно, был смелый и предприимчивый, но жестокостью в обращении с подневольными людьми отличался феноменальной, что было не редкостью в те годы в Сибири, когда приходилось усиленными карательными мерами удерживать в повиновении, в обстановке серьезных лишений, плохо дисциплинированное войско. О его свирепости по отношению к духовенству ходили легенды — и писались доносы, на которые никто не обращал особого внимания. Вот ему-то и «отдали» Аввакума с семьей.

Поглядев на произвол Пашкова, Аввакум, конечно, не мог смолчать просто по пылкой натуре своей — и стал его «уговаривать». Как он умел уговаривать — это мы уже знаем, и потому «сам в руки попал». С этих пор и до конца их совместного пребывания ни одного спокойного дня у Аввакума уже не было: каждый шаг его, и без того мучительный в той неприветливой земле, еще многократно усложнялся злобным воеводой: то при водном переходе его вышвыривали из «дощеника» (лодки), требуя идти по горам, то за то, что накормил кашей голодных и быстро дичающих казаков Пашкова и просил не выдавать насильно замуж двух пожилых вдов, устроили показательную расправу: «Он же рыкнул, яко дикий зверь, и ударил меня по щоке, таже по другой и паки в голову, и сбил меня с ног и, чекан ухватя, лежащего по спине ударил трижды и, разоблокиши, по той же спине семьдесят два удара кнутом. А я говорю: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помогай мне!» (...) И он велел меня в казенный дощеник оттащити: сковали руки и ноги и на беть кинули. Осень была, дождь на меня шел, всю ночь под капелию лежал». И тут опять происходит показательный случай. Человек высоко-го духовного делания, Аввакум и в таком положении не оставляет попечения о своем совершенствовании. В какой-то момент он возроптал — ведь за вдов же вступился! — за что Бог попустил Пашкову так страшно избить его? Но сразу... «Как дощеник-то в воду не погряз со мною?» — сокрушенно кается Аввакум уже через несколько минут. Как только он возроптал, так стало «кости те щемить да жилы тянуть, и сердце зашлось, да и умирать стал». Только после того, как возопил к Богу о прощении, пришел в себя. Таких эпизодов, описывающих минутную слабость человеческую с последующим вознесением и просветлением духа через немедленное покаяние, Аввакум приводит несколько. «Житие» подвижника, написанное им самим — исповедальное и беспощадное к самому себе — дает нам уникальную возможность стать свидетелями истоков подвига, получить возможность видеть, как выпрямляется и становится непобедимой его душа.

Что после этого ему Братский острог на Ангаре, где сидел он в башне всю зиму без теплой одежды: тут уже понятно, что «Бог грел и без платья», а спина-то гнила, лежал на животе в соломе... В «Житии» Аввакума много прямой переключки с Евангелием, он и сам это видит и свидетельствует: «Щелка в стене была, — собачка ко мне во все дни приходила, да поглядит на меня; яко Лазаря во гною у вратех богатого пси облизаху гной его, отраду ему чинили, так и я со своею собачкою поговаривал, а человецы галече окрест меня ходят и поглядеть на меня не смеют»... Где та собачка теперь?..

Такие сцены писать трудно даже беллетристу. И устоять перед ними трудно. Некоторые трагедии выматывают душу. Но люди их переживали — и жили дальше. Мой том «Жития» весь испещрен карандашными пометками, собственными размышлениями на полях... Но вот обведен просто в круг целиком один кусок текста — давно еще обведен, не для заметки этой, для себя. А на полях, косо: «Очень жутко». И все.

А и всего-то было: пошел отец семейства на озеро Шакшу за рыбой для детей — верст пятнадцать от дома, лютой сибирской зимой. А куда ты денешься? Пойдешь как миленький. Рыбы оказалось — полные нарты, и теперь их следовало доставить домой. Снегу в тех краях не бывает, пишет Аввакум, и тащить треклятые нарты пришлось по

мерзлой земле и по льду, идя в базулуках — еще то удовольствие, но иначе шею свернешь, — и изнемог, конечно, ноги служить отказались. Рыбу на нартах не бросишь — домашние в очередной раз пухнут с голоду, невозможно и после прийти за нартами с подмогой: рыбу неминуемо пожрут лисицы. Кругом — одиночество и непредставимая стужа. Но тащит — пока не падает лицом вниз — встает, идет еще сколько-то — и опять: «нищ». К ночи понял, что никуда не дойдет — влез ночевать на дерево. Изможденный, заснул в ветвях и окоченел так, что все смерзлось на нем — и в нем: не мог даже перекреститься. Понял — смерть вот она: не от огня — ото льда. Но поднял голову на звезды, и подумалось: ведь Христос — он там где-то... Поднялась со дна души последняя молитва — уже о смерти, ибо избавления не ждал. А помолился — и оттаяло где-то внутри, должно быть... Опять впрягся в нарты, тащил, пока мог. Потом все же пришлось нарты оставить — там уж до дома версты три оставалось. Полз сначала на локтях и коленях — потому как ноги отморозил напрочь, потом и колени с локтями отнялись — тогда уже «на гузле». До дома дополз, а войти не мог. Спасибо, утро уж было — жена, сердцем почуяв, открыла дверь и втащила. Отходила. Но ведь и это не все же... Отхаживала — рыдая: единственная их драгоценность — тощая корова, от которой хоть какое-то было молоко детям, как раз в тот день, под лед упав, «изломалась» и здесь же умирала, прямо в избе... Приводя в чувство при смерти лежавшего мужа, протопопица, не переставая рыдать, корову зарезала (кстати, и это тоже представить нелишне) и выпустила из нее кровь (что в избе при этом творилось — это уже мелочи жизни). Кровь она отдала одному из казаков, чтобы он приволок брошенные нарты с рыбой... Бывало и похуже, наверное. Выжили ведь. И не оставили молитву: он по шестьсот земных поклонов ночью, она — по четыреста. Понятно, почему такое странное послабление: то родить ей вот-вот, то кормить. Двое детей в Сибири, конечно, умерли...

Настоящий сердечный бунт случился с протопопом лишь однажды: бунт человека, не стерпевшего крайности, бунт, граничивший с падением даже с отпадением — и вновь проросший покаянием — и чудом, как обычно. Впрочем, бесконечные чудеса в «Житии» уже как бы и не чудеса вовсе — а просто ощущение постоянного и неотступного Божьего присутствия.

Решил Пашков отправить своего сына Еремея в Монгольское царство с войском и не додумался сделать ничего другого, как привести шамана, чтобы гадать — успешным ли будет поход. Шаман устроил кровавую вакханалию с жертвоприношениями, но пообещал, что войско вернется с победой и богатыми трофеями. Все это на глазах Аввакума. И действительно — доколе же терпеть! И вот возносится к небу молитва: *«Послушай мене, Боже! Послушай меня, Царю Небесный, свет, послушай меня! Да не возвратится вспять ни один из них, и гроб им там устроиши всем, приложи им зла, Господи, приложи, и погибель им наведи, да не сбудется пророчество дьявольское!»* Это и читать страшно, а уж произнести... Произнес ведь — говорило горячее и страстное сердце, не желавшее видеть поругания веры и минутно готовое жертвовать ради этого людьми.

Войско отъезжало ночью — и тут протопопу стало не по себе, особенно когда некоторые стали подходить и дружески прощаться с ним, и ему приходилось вслух прорекать каждому смерть. Кроме того, *«лошади под ними взоржали, вдруг, и коровы тут взревели, и овцы и козы заблеяли, и собаки взвыли, и сами иноземцы что собаки завлили; ужас на всех напал»*. Дело осложнилось тем, что Аввакум был дружен и даже любил Еремея, сына Пашкова, которому по его молитвам предстояло погибнуть: тот имел характер помягче, не раз пытался увещевать отца, отговаривал его от издевательств над Аввакумом — за что сам терпел издержки отцовского медвежьего нрава: тот даже ухитрялся трижды в упор палить в родного сына из пищали, да пищаль трижды дала осечку... Потом Аввакум напишет: *«Ох, душе моей тогда горько и ныне не сладко! Пастырь худой погубил своя овцы, от горести забыл реченное во Евангелии...»*

Из похода вернулся один Еремей, из-за которого Аввакум все это время *«Владыке докучал, чтоб ево пощадил»*. Вернулся в тот момент, когда Аввакум успел приготовиться к страшной смерти: за ним пришли уже два палача, чтобы по приказу Пашкова, уверенного в том, что войско не вернулось по вине протопопа, тащить его на пытку огнем, и огонь уж был разведен — собственно, на казнь, потому что у Пашкова после той пытки не жили: исследователи считают, что при этом человеку заливали в горло расплавленное олово. Именно в ту секунду появился весь израненный Еремей, единственный уцелевший из целиком побитого войска — и увел палачей, усмирив отца... Молитвы Аввакума подействовали так: *«По каменным горам в лесу, не ядше, блудил семь дней — одну съел белку, — и как моим образом человек ему во сне явился и, благословя ево, указал дорогу»*. То есть молитва о спасении Еремея воздействовала напрямую, и ангел, явившийся во сне скитающемуся в горах израненному человеку, принял вид именно Аввакума — что, конечно, знак прощения последнего... Пашков после рассказа сына в

очередной раз *«возвев очи свои на меня, — слово в слово, что мегведь морской белой, жива бы меня проглотил, да Господь не выдаст!»*

Уж кажется — куда дальше еще... а все нет в протопопе последнего осуждения: *«Десять лет он меня мучил или я ево — не знаю; Бог разберет в день века»*. Конечно, мучился Пашков, это точно: такого праведника под боком мало кто столько лет выдержит...

Никогда и ни у одного человека не бывает в жизни так, чтобы Бог не посылал никакого облегчения в скорбях, не подавал поддержку — через обстоятельства или других людей. Протопопу Аввакуму было дано не то что утешение или ослаба — а постоянная, неизменная опора. Говоря о нем, невозможно обойти вниманием двух великих женщин, встреча с которыми во многом определила страдальческий жизненный путь и мученическую кончину самого Аввакума. Настасья Марковна Петрова — Феодосья Прокофьевна Морозова. Жена — близкий друг. Каждая из них олицетворяла собой одно из двух крыл исповедничества: смирение и дерзновение. Но смирение, наверное, все-таки — правое крыло, поэтому, при весьма противоречивом отношении к боярыне Морозовой, и бесстрастные исследователи, и воинствующие атеисты, и небрежные студенты-филологи — все, хоть раз соприкоснувшись с «Житием», склоняют голову перед образом незаметной протопопицы Марковны, разделившей с мужем его Голгофу. Да, ее вроде бы не били кнутом по спине и батогами по голове, как мужа, не вздергивали на дыбу, не ломали рук, как Морозовой. Зато бросили с детьми в подземную тюрьму на Мезени, когда уже навсегда разлучили с Аввакумом, сосланным пожизненно в земляную тюрьму в Пустозерск. Но это потом, а до того она тысячи верст прошла с ним, как сейчас говорят, по этапу. С ним и несколькими детьми, грудными и малолетними — по льдам, пустыням, лесам и озерам. Почти никогда — здоровая. Почти всегда — беременная. Редко евшая досыта, зато часто голодавшая до полного изнеможения. В любом — более или менее постоянном или совсем уж временном пристанище ухитрявшаяся поддерживать тепло очага — в доме и в душе — у изгнанника. Хоронившая детей на тех путях. Никто толком так и не посчитал точно — сколько же родилось у нее детей, сколько умерло, сколько выжило. Занятый гораздо более важными, по его меркам, мыслями, ее муж на такие мелочи, как пересчитывание «робят» и упоминание всех их имен, не тратился. Довольно было, что кормили как-то и воспитывали в старой вере. Все ежедневные тяготы, о которых мы теперь и представления не имеем, и названия тем занятия не знаем, лежали на ней в полной мере. Ее бы никто не осудил, если б она опального Аввакума бросила, а Никон сразу же дал бы развод — развел же он староверок княгиню Урусову и боярыню Данилову с мужьями, перешедшими в новую веру... Любила? Оборванного, грязного, калеченого, вспыльчивого, невнимательного, быстрого на руку? Да что мы знаем теперь о любви, чтоб рассуждать! У подавляющего большинства современных нам женщин даже самые что ни на есть законные мужья — все равно узаконенные любовники, не более; с них и спрос, как с любовников, даже если отцы там, кормильцы и прочее... Мы просто не ведаем, что такое супружество, отказываемся понимать, что венец, который при венчании держат над головой каждого из брачующихся — венец, прежде всего, мученический, и именно как такой венец его предки и воспринимали. По дикости и невежеству, что ли, было у нее в год по ребенку — в условиях, когда смерть стояла не у дверей — у сеника, на котором рожала? Избежать зачатия детей и в те годы умели женщины не хуже нас, даже и не прибегая к «вытравливанию», прямому убийству, о чем свидетельствуют прямые вопросы в исповедальных книгах того времени («Не напаяла ли зельем каким ложесна, во чреве зачать не желая?»). А уж в Сибири-то, где и сейчас, при желании, можно отыскать толковых травниц, — тогда-то уж... Но не ходила к ним протопопица, а смиренно принимала Божью волю, чадородие воспринимая как благословение и религиозный долг, — не рассуждая, ни разу не возроптав.

Нет, все-таки возроптала один раз — в тех условиях, когда любая из нас и мужа прокляла бы, и детей, и самую жизнь свою. Когда пять недель ехали по голому льду на нартах — то есть это *«робяты»* и *«рухлишко»* ехали, а протопоп с протопопицей шли пешком, *«убивающиеся»* о лед. Кругом — варварская страна, в любой момент ожидали нападения диких туземцев, отстать от лошадей было нельзя, а идти за ними по скользкому бесснежному льду не поспевали. Она падала много раз — и вставала без слов. И однажды, споткнувшись об нее же, Настасью придавил кто-то из сопровождающих обоз. Встать не могли, оба без сил — барахтались — а лошади уходили вперед. Подобрался к ней муж, поднял кое-как и в первый и последний раз услышал — не ропот даже, а жалобу. Этот краткий разговор их на диком льду вошел во все анналы, стал навеки хрестоматийным: *«Долго ли муки сея, протопоп, будет?» И я говорю: «Марковна, до самой до смерти!» Она же, вздохня, отвечала: «Добро, Петровичи, ино еще побредем»*.

Ей не исполнилось тогда и сорока. По нашим меркам — молодая женщина, у которой все впереди, — по тем называлась «старуха». Впрочем, при тех лишениях, что пришлось ей испытать... Внешнего ее образа история не сохранила. И не надо: прекрасней ее не было.

Имела и она свое маленькое чудо: черную курочку. Намоленная курочка во всех их суровых походах несла в день по два яичка для детей — и так целый год. Я до сих пор себе не уяснила — возможно ли такое по естеству птичьему. Или курица — не птица? Но и ее на нартах случайно «удалили по грехам»...

В Сибири Настасью Марковну любили и уважали — до того, что, когда она с мужем вместе скрывала в своей лодке беглого человека при выезде на Русь из ссылки, именно место под ее постелью, на которой она лежала, не тронули — а там-то как раз и скрывался несчастный беглец. Ей, дрожавшей, верно, как овечий хвост, свирепые казаки только и сказали: «*Матушка, опочивай ты, и так ты, государыня, горя натерпелась*», — вот и получилась у матушки некоторая конспирация. Хорошо, добром кончилось — не то не сносить бы головы...

«*И мы то уже знаем: как бабы бывают добры, так и все о Христе бывает добро*», — подмечает Аввакум — правда, не по поводу своей Марковны, но, мнится мне, сей афоризм к ней напрямую относится.

Раба Божия Анастасия шла к вершинам Духа тихо и без всякой агитации: просто взялась за плуг — и больше не оглядывалась назад. Благодаря ее мужу, запечатлевшему эту сцену в «Житии», мы можем поднять голову и посмотреть туда, на вершину. И увидеть там смиренную Марковну — другим человеком, своему Аввакуму под стать.

Случилось это, когда уже добрались они до первых русских городов.

После долгих мытарств, какая ни есть — а первая тихая гавань. Чуть-чуть откормились, передохнули на пути в Москву. Задержались на некоторое время. В Сибири особо не разбирались — старый ли, новый обряд, а здесь вновь увидел Аввакум «греческую ересь». Он же был человек — семейный, с женой, заслужившей хоть толику покоя. С детьми, которых все же следовало уберечь. Что делать было? Проповедовать? Затаиться? Семья связала его. Ходил печальный — пока не бросилось это в глаза протопопиче. Раскрыл ей душу: «*Жена, что сотворю? Зима еретическая на дворе; говоришь мне или молчать? — связали вы меня!*» Другая — любая — взмолилась бы: дай хоть передышку! Ведь едва же от смерти бежали на время! Не меня — детей пощади! Но на вершинах Духа судят иначе: «*...Аз ты с детьми благословляю: дерзай проповедати слово Божие по-прежнему, а о нас не тужи; гондеже Бог изволит, живем вместе, а егда разлучат, тогда в молитвах своих не забывай; силен Христос и нас не покинет! Поги, поги в церковь, Петрович, — обличай блудную еретическую!*»

Он упал жене в ноги — «бил челом» — и с тех пор никогда больше не сомневался.

Их разлучили — уже навсегда — всего года через три после этого разговора, когда Аввакума сослали в Пустозерск, а Настасью с детьми швырнули в подземную тюрьму по соседству; он прожил в заточении еще пятнадцать лет — но увидеться им на земле больше не пришлось.

Собственно, о боярыне Морозовой, втором его «крыле», мы все впервые узнали не из писаний протопопа Аввакума, а из картины Сурикова. Вот так и творится история. Художник Аввакум, конечно, читал, сделал свои выводы и, по преданию, однажды загляделся на ворону на снегу. Чудная, ксгати, птица — самая умная из всех и очень целеустремленная. Это созерцание натолкнуло его на создание образа Феодосьи Морозовой, увозимой в тюрьму. Сколько часов своей жизни просидела я в Третьяковской галерее напротив картины — и все думала: она? Что-то есть, кажется... Но нет — не она... Не она.

Феодосья (в тайном постриге — Феодора) Морозова считалась, конечно, одним из сотнями исчислявшихся духовных чад протопопа Аввакума, но по сути — его истинным другом, соратником и единомышленником.

Чтобы лучше понять ее подвиги, надо точно представить себе, кем она была: верховной боярыней, близкой ко двору, имела состояние около восьми тысяч душ, из которых триста только обслуживали ее дом. Она выезжала в карете с эскортом не менее ста человек — и могла не бояться ничего гнева, потому что принадлежала сразу к двум могущественным боярским кланам: Морозовых — по мужу, урожденная же была Соковнина. Оставшись после мужа вдовой с одним ребенком — то есть имея то единственное положение, которое делало в те времена женщину абсолютно свободной и неподконтрольной никому, она могла бы до глубокой старости наслаждаться безбедной и приятной во всех отношениях жизнью, если бы... Если бы не решила навсегда удерживать старую веру и обычай. О том, как она жила на самом деле, мы знаем из двух источников: писем Аввакума к ней и из самого трогательного его произведения — своеобразного жития, написанного им после ее гибели: «О трех исповедницах

слово плачевное».

То, что мы узнаём о ней, современному человеку часто непонятно вовсе, и он все так и порывается заклеить: «фанатичка». Потому что ведь ее-то никто не трогал до поры до времени: она могла жить в личном имени, невероятно роскошном дворце, обустроенном по западному образцу, править жизнь по собственному разумению и никогда ни от кого не слышать ни одного непочтительного слова. Но она пожелала другого.

Видите ли, молодую вдову, здоровую и цельную женщину, вероятно, сильно бороли страсти. Но далеко не каждый мужчина, который мог ей понравиться, являлся ей ровней по положению — таких было еще поискать — следовательно, на новый брак не по расчету, а по любви ей не приходилось особенно рассчитывать. У нее, конечно, происходили сильные борения и метания в этом отношении, и, вероятно, она пережила и переборола в себе какое-то очень сильное чувство к мужчине после смерти мужа. Чувство, которое браком закончиться не могло по определенным обстоятельствам — и о котором знал ее духовник Аввакум: *«Пресвятая Богородица заступила от диявольского осквернения и не дала дияволу осквернить душу бедную, но союз той злой распоргла и разлучила вас, окаянных (...) да в совершенное осквернение не впадете! Глупая, безумная, безобразная, выколи глазища те свои челноком, что и Матридия. (Матридия — христианская святая, выколовшая себе глаза, потому что их красота прельщала влюбленного в нее юношу. — Н.В.) Оно лутче со единым оком внити в живот, нежели две оце имущее ввержено быть в геену. Да не носи себе треухов тех, сделай шапку, чтоб и рожу ту всю закрыла...»*

Имя ее возлюбленного в истории не сохранилось, исследователям вычислить его не удалось (юродивый Федор?). Зато очень хорошо известно, как именно совершенствовала свой дух Феодосия. Правило, данное ей духовным отцом Аввакумом, у современных христиан вызывает только усмешку: ей вменялось, встав ночью, совершать триста поклонов и 700 молитв — это, разумеется, не считая утреннего и вечернего правила — а в случае, если бы ночное правило проспала, то в тот день вообще не должна была ни есть, ни пить. *«Не игрушка гуша, чтоб плотским покоем ее погавлять!»* — настаивает Аввакум. Предлагаю всем «воцерковленным» ближайшей же ночью попробовать — и положить не триста поклонов, а тридцать, встав среди ночи по будильнику. Кажется, тут и ладошку на свече жечь не потребуется...

Протопоп Аввакум был суров к ней, как, в общем, и ко всем своим чадам, и давал правила, кажущиеся нам теперь немислимыми. Но судить мы можем только по себе — то есть по своей полнейшей немощи: те люди имели иную закалку. Судя по распространенности аскетического делания в древней Руси, чем-то уж очень из ряда выходящим это не считалось. Епитимьи были строгими и налагались буквально за все: например, если человек говорил на исповеди, что он ударил собаку, то к причастию не допускался, а ставился на три дня на поклоны. Древнерусские духовники добивались полного очищения душ своих чад перед причащением — и преуспевали, по всей видимости... У того же Аввакума остались десятки писем к его духовным детям.

Вот только один пример — послание в московскую старообрядческую общину, где он разбирает сложные взаимоотношения своей паствы. Некая Елена Хруцова, уставщица московского Вознесенского монастыря едва не разлучила с мужем повторно венчавшуюся молодую вдову и чуть не «уморила» ее ребенка. Обратите внимание — «едва» и «чуть»! Все оказалось вполне обратным. Епитимья, наложенная протопопом, указывает на общий высокий уровень благочестия народа — потому что выполнять ее могли только глубоко духовные люди: *«3 года не сообщайся с верными, 2 лета плачь с припадающими, в притворе стоя, 2 лета в церкви да пребудеши без причащения, свечи и просвиры да не приемлет священник во олтарь от руку твою (...); чрез день, кроме субботы, и недели сухо да яж, по тысяще на всяк день метаний твори перед Господем...»*

Стоит заметить, что никакого пастырского высокомерия Аввакум, преподнесший согрешившей такой, по его выражению, «пирожок», при этом не проявляет, по-отечески утешая ее:

«С сестрами теми не сообщайся, понеже оне чисты и святы. А со мною водися, понеже я сам шелудив, не боюся твоей коросты, и своей у меня много (...) друг на друга не дивим: оба мы равны».

Письма Аввакума к Морозовой в те дни, когда она находилась еще во здравии и благополучии, тоже строги и взыскующи — но совсем не то, когда она оказалась под арестом: *«Свет моя, еще ли ты дышишь?! Друг мой сердечный, еще ли дышишь, или сожгли, или удавили тебя?! Не вем и не слышу; не ведаю — жива, не ведаю — скончались! Чадо церковное, чадо мое драгое, Феодосья Прокопьевна! Провещай мне, старцу грешну, един глагол: жива ли ты?!»* — так он никогда не писал своей жене, вообще никому не писал так. Это — вопль в пустоту, наугад, вопль настоящего горя и невероятной

боли за близкого человека. В тот момент Аввакум не знал еще, что она пошла уже по последним мукам: была заключена в Боровскую тюрьму.

«Слово плачевное» он написал в начале 1676 года под непосредственным впечатлением от мученической кончины Феодосии Морозовой, ее родной сестры Евдокии Урусовой и их подруги дворянки Марии Даниловой в земляной тюрьме в Боровске. Если Урусова и Данилова были просто его чадами, то тесная духовная дружба с Морозовой не вызывает сомнений: это никакое не житие трех мучениц, а личные воспоминания протопопа об его отношениях с Феодосией Прокофьевной и, главное, о ее подвигах, мужестве и мучениях.

Он один на свете знал, что она носила власяницу, сплетенную из белой щетины — носила тайно, стремясь, чтобы никто не увидел. Он рассказал нам о том, что правило, которое он сам же и дал ей, она исполняла не теплохладно, как послушание, — а слезы при этом струями лились из ее глаз. Она отказывала себе даже в исконном русском удовольствии — бане, и *«ризы же ношаше в доми с заплатами и виами исполнены»*. Я, когда дошла до этого места... Читатель, вас когда-нибудь кусала одна вошь? Гигиена тут ни при чём: о микробах понятия не имели, так что баня топилась в основном для ублажения телес, и, отказывая себе в бане, отказывали не в чистоте, как нам кажется, а, прежде всего, в удовольствии. Таким же, как в питии хмельного меда и прочем... Если вшей было много — то они кусали постоянно. Днем и ночью. Потому что к власянице, наверное, можно притерпеться. К постоянным укусам — никогда. Закаленная таким образом плоть уже полностью подчинялась духу...

Феодосья не сидела без дела — она беспрестанно то пряла, то шила — и тайком, чтобы не заслужить благодарности от людей, раздавала одежду и еду нищим, дома постоянно держала и лечила калек, создала и возглавила тайную старообрядческую общину. Это был деятельный, дерзновенный и бесстрашный человек, не только готовый к мученичеству, но и жаждущий его. Вот ее ответ царю Алексею Тишайшему на его уговоры перековаться: *«Почто отец твой, Михайло, веровал яко же и мы? Аще я достойна озлобленю — извергни тело отцово из гроба и передай его, проклявше, псом на снесь»*. На Соборе она выступила еще яростней: *«Все вы еретики, власти, от первого и до последнего! Разделите между собою глаголы моя!»*

Они с Аввакумом оказались друг друга достойны, будучи людьми одного духа — и разве не похоже на наши страстные русские разговоры — не духом, а внешностью — их ненасытное собеседничество: *«Аз же, приехав, с ней две ночи сидел, несытно говорили, како постраждем за истину, и аще и смерть примем — друг друга не выдадим»*.

Смерть, они, конечно, приняли: она с подругами пораньше, он — попозже. Но перед тем — *«И быша все три на пытке пытаны, и руки ломаны. Мария же и по хрепту биена бысть немилостиво»*...

Милые православные дамы двадцать первого века — в нарядных шляпках, кокетливых беретиках и модных шарфиках валом валящие каждое воскресенье к чаше после общей исповеди — а ну, как нас по хребтине кнутом?! Да еще — немилостиво...

Они как-то ухитрились прислать из тюрьмы железные поручи и ошейники, в которые были закованы. *«Аз же, яко дар освящен, восприях и облобызав, кадилом кадя, яко драго сокровище, покрояя слезами горькими...»*

Всех троих заморили голодом в Боровской тюрьме; Феодосья (схимница Феодора, не забудем этого) — она умерла последняя. Их держали в одной келли, трупы ее сестры и подруги никто не убрал, пока она и сама над ними не скончалась через два месяца после смерти последней. Только тогда, никому не выдав тел для погребения, их закопали в рогоже, прямо в полу... **Православные замучили православных ради православия** — это, как ни посмотри, одна из позорных страниц в нашей истории. *«Ужаснися, небо, и да подвижатся основания земли!»* — так воспринял их смерть Аввакум...

Их были тысячи — шедших на смерть добровольно. Их калечили, причиняли им немислимые мучения, моральные и физические — а они стояли в вере не менее твердо, чем первомученики. Но те терпели от язычников. А эти... Ни никониане, ни старовееры, как показало время, не оказались в глазах Божьих еретиками. Церквы предстоял и другой Раскол, в двадцатом веке, — результат Кочующего собора, когда откололась значительная часть епископата и образовалась новая церковь, поныне называющая себя истинно православной. Наша признала и эту — и получила себе еще одну неснимаемую анафему. Господь разберет *«в день века»*, как предрек Аввакум.

Они противостояли с праведной яростью — а иногда и с неправедной, как, например, протопоп муромский Логин. Когда его расстригали в присутствии царя и *«остригше, сограли с него однарятку и кафтан, Логин разжегся ревностию Божественного Огня и через порог в олтарь в глаза Никону плевал; распоясався, схватя с себя рубашку, в олтарь в глаза Никону бросил...»* — это все, заметьте, во время литургии. Переходили в запале некоторые какую-то черту, конечно. Сам Аввакум на соборе, где расстригали

его, в знак протеста лег на пол спиной к архиереям и так лежал...

Соратников Аввакума, священника Лазаря, старца-схимника Епифания и дьякона Федора (с этим своим «соузником» Аввакум впоследствии идейно разойдется), таких же апостолов старообрядчества, как он, известных меньше, потому что не сподобились написать собственные «Жития», «казнили» в Пустозерье — в том смысле, что не предали смерти, а вырезали всем языки — под корень, до гладкости, исправляя несовершенство московских заплочных дел мастеров, по первому разу что-то не дорезавших — и отрубили правые кисти — кому по запястье, кому поперек ладони. Аввакума от «казни» такой отпросила царица — и то промыслительно, наверное: без руки-то — чем бы он писал? Например, мы бы никогда не узнали правду, свидетельствованную им про языки его друзей. Далее — о языках — без моих комментариев, потому что тут-то слов у меня нет. У Лазаря: *«Егда исполнился два года, (...) в три дни у него язык вырос совершенный, лишь маленько тупенек, и паки говорит, беспрестанно хвала Бога и отступников порицая»*. У Федора: *«...после опять (...) вырос и за губы выходит, притуп маленько»*. Епифаний: *«Посем молил Пречистую Богоматерь, и показаны ему оба языки, московской и здешней, на воздухе; он же, един взяв, положил в рот свой, и с тех пор стал говорить чисто и ясно, а язык совершен обретется во рте»*. Это они все в прелесть впали или дружно застрадали галлюцинациями — слуховыми, зрительным и осязательными? Мой собственный язык здесь немеет. Но не могу не вспомнить Иоанна Дамаскина — у которого, по его молитвам к Богородице, не язык прирос — а рука, отсеченная по приказу императора-иконоборца Льва и повешенная «на торжище». Он дорисовал тогда третью руку к образу Пречистой — и так мы получили знаменитую и очень почитаемую в России «Троеручицу»...

«От света земного заперли, да свет небесный замкнуть не догадались»...

В Пустозерске провел протопоп Аввакум целых пятнадцать лет, из них двенадцать — в строжайшем заточении в земляном срубе, где оставили только одно маленькое окошко для подачи пищи и вынимания нечистот, причем воды на полу было «по колени». Грязь казалась невероятной даже для того небрезгливого времени — настолько, что «в грязи той сидя», нельзя было носить никакую одежду — узники сидели обнаженные, каждый в своем срубе, имея на себе только «крест с гайтаном»... Тем не менее, в окошечко передавались, верно, все же принадлежности для письма — потому что практически все наследие Аввакума написано именно тогда и в таких условиях. Интересно, какой еще писатель мог бы создать при всем этом три объемные книги? Он же написал «Житие», «Книгу бесед» и «Книгу толкований», да это если не считать относительно небольшое «О трех исповедницах слово плачевное» и бесчисленных писем и челобитных, причем, каждый из этих документов уникален, с какой стороны ни взгляни... Из чего должен был быть сделан такой человек, откуда прийти на землю — куда уйти?

В апреле 1682 года по указу царя Феодора Алексеевича все четыре узника Пустозерска были казнены по-настоящему — через сожжение. Достал-таки Аввакум власти, долго терпели — не вынесли...

Как и никому из нас, о последних своих минутах Аввакуму написать не пришлось — за него это сделал Максимилиан Волошин как раз в том году — восемнадцатом, когда круг замкнулся: запылали уже все церкви без разбору, и, как и первым христианам, новомученикам российским стало недосуг разбираться в тонкостях обрядности... Поэма Волошина «Протопоп Аввакум» (одноименная есть даже у классического «западника» Д. Мережковского), от второй главы до предпоследней строфы являясь стихотворным переложением «Жития», в последних показывает чудеса прозрения:

*А вывели казнить —
Смотрю, дивлюсь:
Черно и пепельно, сине, красно и бело,
И красоты той ум человеческий вместить не может!
Построен сруб — соломою накладен:
Корабль мой огненный —
На родину мне ехать.
Как стал ногой —
Почуял: вот отчало!
И ждать не стал:
Сам подпалил свечой.*